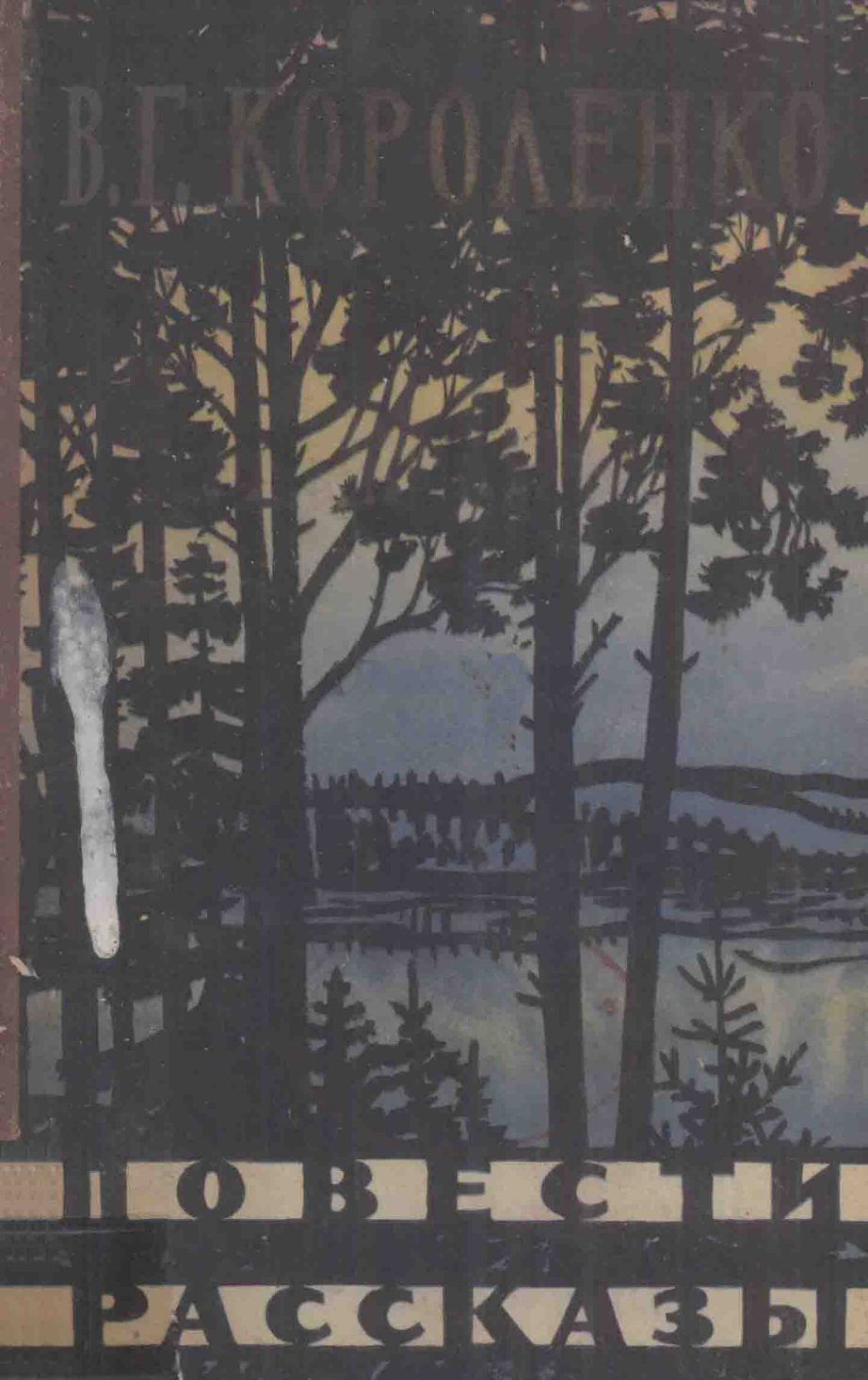


В. Г. КОРОЛЕНКО

The book cover features a dark, atmospheric illustration of a forest scene. Tall, slender trees with dense foliage frame a central view of a calm body of water, possibly a lake or a wide river. The water reflects the sky and the distant shoreline, which is lined with more trees. The overall color palette is muted, with dark greens, blues, and greys, creating a somber and contemplative mood. The title and author's name are printed in a bold, sans-serif font, with the author's name at the top and the title at the bottom.

П О В Е С Т И
Р А С С К А З Ы

В.Г.КОРОЛЕНКО

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1959



В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Из детских воспоминаний моего приятеля

І. РАЗВАЛИНЫ

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле,— никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов Юго-западного края, где, среди тихо струящейся жизни тяжелого труда и мелко-суетливого еврейского гешефта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского величия.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитек-

турное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой». Сонный инвалид, порыжелая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремоты, лениво поднимает шлагбаум, и — вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов», казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, крихтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами евреев-менял, сидящих под зонтами на тротуарах, и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута и — вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладами и топиями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц,

мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса,—так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стояли стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. «Ой-вей-мир!» — пугливо произносили евреи; богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое существование божеской силы, выходя в эти часы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших.

Старый, седобородый Януш, за неимением квартиры приютившийся в одном из подвалов замка, рассказывал нам не раз, что в такие ночи он явственно слышал, как из-под земли неслись крики. Турки начинали возиться под островом, стучали костями и громко укоряли панов в жестокости. Тогда в залах старого замка и вокруг него на острове брякало оружие, и паны громкими криками зывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно, под рев и завывание бури, топот коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов, прославленный на вечные веки своими кровавыми подвигами, выехал, стуча копытами своего аргамака, на середину острова и неистово ругался: «Молчите там, лайдаки, пся вяра!»

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост, в еврейские лачуги, и последние представители славного рода выстроили себе прозанческое белое здание на горе, подальше от города. Там протекало их скучное, но все же торжественное существование в презрительно-величавом уединении.

Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и замок на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским

улицам его дочь, а сзади почтительно следовал шталмейстер. Величественной графине суждено было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей, малодушно рассеялись по свету, оставив родовые замки или продав их на слом евреям, а в городишке, расстилавшемся у подножия ее дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу-графиню. Завидев этих трех всадников, мы, малые ребята, как стая птиц, снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно-любопытными глазами следили за мрачными владельцами страшного замка.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная униатская часовня. Это была родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города. Некогда в ней собирались, по звону колокола, горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах, с палками в руках, вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зов звонкого униатского колокола из окрестных деревень и хуторов.

Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи, но замок сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью, и только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна, и замок, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и, вместо гулко, с высоким тоном, медного колокола, совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Но старая, историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский замок и мешанскую униатскую часовню, продолжалась и после их смерти: ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие уцелевшие углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умерших зданий были люди.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, всякое выскокшее из колен существование, потерявшее, по той или

другой причине, возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду,—все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались,— вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских «официалистов», выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтоб отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлий. Овцы, оставшиеся по-прежнему в замке, помогали Янушу изгонять несчастных козлий, которые упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда, наконец, при молчаливом, но, тем не менее, довольно существенном содействии будочника порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в замке только «добрых христиан», то есть католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках», с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и салопы. Все они составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили, с молитвой на устах, по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу,

проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костелов и величественно принимала подачки во имя «пана Иисуса» и «панн Богоматери».

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш, во главе целой армии красноносых старцев и безобразных мегер, гнал из замка последних, подлежащих изгнанию, жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках, сохранявший вооруженный нейтралитет, очевидно, дружественный торжествующей партии. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой топули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшевою старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат всё, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью 70-летнего старика, начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским вооб-

ражением вставали, оживая, образы прошедшего, и в душу веяло величавою грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, и романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегают в ветреный день легкие тени облаков по светлой зелени чистого поля.

Но с того вечера и замок, и его бард явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренне удивлялся, как этот строгий покойник, усмирявший турок в грозные ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Как бы то ни было, на примере старого замка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в замке поросло плющом, повиликой и мхами, а смешное казалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна.

II. ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЕ НАТУРЫ

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны родиться жестокие

чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам утомился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках; «факторы» лениво валялись на солнцепеке, зорко выглядывая проезжающих; скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна присутственных мест; по утрам городские дамы сновали с корзинами по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи из замка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находя совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обитатели старого замка получали ее вполне respectfully.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колен. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около униатской часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебною тревогой; они, в свою очередь, окидывали обывательское существование беспокойно-внимательными взглядами, от которых многим становилось жутко. Эти фигуры несколько не похо-

дили на аристократических нищих из замка, — город их не признавал, да они и не просили признания; их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, — брать самим, чем выпрашивать. Они или жестоко страдали от преследований, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужною для этого силой. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество униатской часовни. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма.

До сих пор я помню, как весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая унылая фигура старого «профессора». Это было тихое, угнетенное идиотизмом существо, в старой фризовой шинели, в шапке с огромным козырьком и почерневшей кокардой. Ученое звание, как кажется, было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где-то и когда-то он был губернатором. Трудно себе представить создание более безобидное и смирное. Обыкновенно он тихо бродил по улицам, по-видимому, без всякой определенной цели, с тусклым взглядом и понуренною головой. Досужие обыватели знали за ним два качества, которыми пользовались в видах жестокого развлечения. «Профессор» вечно бормотал что-то про себя, но ни один человек не мог разобрать в этих речах ни слова. Они лились, точно журчание мутного ручейка, и при этом тусклые глаза глядели на слушателя, как бы стараясь вложить в его душу неуловимый смысл длинной речи. Его можно было завести, как машину; для этого любому из факторов, которому надоело дремать на улицах, стоило подзвать к себе старика и предложить какой-либо вопрос. «Профессор» покачивал головой, вдумчиво вперив в слушателя свои выцветшие глаза, и начинал бормотать что-то до бесконечности грустное. При этом слушатель мог спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, он увидел бы над собой печальную темную фигуру, все так же тихо бормочущую непонятные речи. Но, само по себе, это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интересного. Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте профессорского

характера: несчастный не мог равнодушно слышать упоминания о режущих и колющих орудиях. Поэтому, обыкновенно, в самый разгар непонятной элоквенции, слушатель, вдруг поднявшись с земли, вскрикивал резким голосом: «Ножи, ножницы, иголки, булавки!» Бедный старик, так внезапно пробужденный от своих мечтаний, взмахивал руками, точно подстреленная птица, испуганно озираясь и хватался за грудь. О, сколько страданий остаются непонятными долговязым факторам лишь потому, что страдающий не может внушить представления о них посредством здорового удара кулаком! А бедняга-профессор только озираясь с глубокою тоской, и невыразимая мука слышалась в его голосе, когда, обращая к мучителю свои тусклые глаза, он говорил, судорожно царапая пальцами по груди:

— За сердце... за сердце крючком!.. За самое сердце!..

Вероятно, он хотел сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но, по-видимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужего и скучающего обывателя. И бедный «профессор» торопливо удалялся, еще ниже опустив голову, точно опасаясь удара; а за ним гремели раскаты довольного смеха, и в воздухе, точно удары кнута, хлестали все те же крики:

— Ножи, ножницы, иголки, булавки!

Надо отдать справедливость изгнанникам из замка: они крепко стояли друг за друга, и если на толпу, преследовавшую «профессора», налетал в это время с двумя-тремя оборванцами пан Туркевич или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов, то многих из этой толпы постигала жестокая кара. Штык-юнкер Заусайлов, обладавший громадным ростом, сизо-багровым носом и свирепо выкаченными глазами, давно уже объявил открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирий, ни нейтралитетов. Всякий раз после того, как он натыкался на преследуемого «профессора», долго не смолкали его бранные крики; он носился тогда по улицам, подобно Тамерлану, уничтожая все, попадавшееся на пути грозного шествия; таким образом он практиковал еврейские погромы, задолго до их возникновения, в широких размерах; попадавшихся ему в плен евреев он всячески истязал, а над еврейскими дамами совершал гнусности, пока, наконец, экспедиция бравого штык-юнкера не кончалась

на съезжей, куда он неизменно водворялся после жестоких схваток с бутарями. Обе стороны проявляли при этом немало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечение зрелищем своего несчастья и падения, представлял отставной и совершенно спившийся чиновник Лавровский. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровского величали не иначе, как «пан писарь», когда он ходил в вицмундире с медными пуговицами, повязывая шею восхитительными цветными платочками. Это обстоятельство придавало еще более пикантности зрелищу его настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро: для этого стоило только приехать в Княжье-Вено блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего две недели, но в это время успел победить и увезти с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слыхали о красавице Анне, так как она навсегда исчезла с их горизонта. А Лавровский остался со всеми своими цветными платочками, но без надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкого чиновника. Теперь он уже давно не служит. Где-то в маленьком местечке осталась его семья, для которой он был некогда надеждой и опорой; но теперь он ни о чем не заботился. В редкие трезвые минуты жизни он быстро проходил по улицам, потупясь и ни на кого не глядя, как бы подавленный стыдом собственного существования; ходил он оборванный, грязный, обросший длинными, нечесаными волосами, выделяясь сразу из толпы и привлекая всеобщее внимание; но сам он как будто не замечал никого и ничего не слышал. Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение: чего хотят от него эти чужие и незнакомые люди? Что он им сделал, зачем они так упорно преследуют его? Порой, в минуты этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя панны с белокурою косой, в сердце его поднималось бурное бешенство; глаза Лавровского загорались темным огнем на бледном лице, и он со всех ног кидался на толпу, которая быстро разбегалась. Подобные вспышки, хотя и очень редкие, странно подзадоривали любопытство скучающего безделья; немудрено поэтому, что, когда Лавровский, потупясь, проходил по улицам, следовавшая за ним кучка без-

дельников, напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинала с досады швырять в него грязью и камнями.

Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал темные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садился, вытянув длинные ноги и свесив на грудь свою победную головушку. Уединение и водка вызывали в нем прилив откровенности, желание излить тяжелое горе, угнетающее душу, и он начинал бесконечный рассказ о своей молодой загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к березке, снисходительно шептавшей что-то над его головой, к сорокам, которые с бабьим любопытством подскакивали к этой темной, слегка только копошившейся фигуре.

Если кому-либо из нас, малых ребят, удавалось выследить его в этом положении, мы тихо окружали его и слушали с замиранием сердечным длинные и ужасающие рассказы. Волосы становились у нас дыбом, и мы со страхом смотрели на бледного человека, обвинявшего себя во всевозможных преступлениях. Если верить собственным словам Лавровского, он убил родного отца, вогнал в могилу мать, заморил сестер и братьев. Мы не имели причин не верить этим ужасным признаниям; нас только удивляло то обстоятельство, что у Лавровского было, по-видимому, несколько отцов, так как одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасом и участием, пока язык Лавровского, все более заплетаясь, не отказывался, наконец, произносить членораздельные звуки и благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровского умерли своею смертью, от голода и болезней. Но мы, чуткими ребячьими сердцами, слышали в его столах искреннюю душевную боль и, принимая аллегории буквально, были все-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровского опускалась еще ниже и из горла слышался храп, прерываемый нервными всхлипываниями,— маленькие детские головки наклонялись тогда

над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробегали по нем и во сне, как нервно сдвигались брови и губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримасу.

— Убью! — вскрикивал он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия, и тогда мы испуганною стаей кидались врозь.

Случалось, что в таком положении сонного его заливало дождем, засыпало пылью, а несколько раз, осенью, даже буквально заносило снегом; и если он не погиб преждевременною смертью, то этим, без сомнения, был обязан заботам о своей грустной особе других, подобных ему, несчастливцев и, главным образом, заботам веселого пана Туркевича, который, сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормозил, ставил на ноги и уводил с собою.

Пан Туркевич принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу, и в то время, как «профессор» и Лавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особу веселую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что, не справляясь ни у кого об утверждении, он сразу произвел себя в генералы и требовал от обывателей соответствующих этому званию почестей. Так как никто не смел оспаривать его права на этот титул, то вскоре пан Туркевич совершенно проникся и сам верой в свое величие. Выступал он всегда очень важно, грозно насупив брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, по-видимому, считал необходимейшею прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счет какие-либо сомнения, то, изловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал:

— Кто я по здешнему месту? А?

— Генерал Туркевич! — смиренно отвечал обыватель, чувствовавший себя в затруднительном положении. Туркевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы.

— То-то же!

А так как при этом он умел еще совершенно особенным образом шевелить своими таракаными усами и был

неистощим в прибаутках и острогах, то не удивительно, что его постоянно окружала толпа досужих слушателей и ему были даже открыты двери лучшей «ресторации», в которой собирались за бильярдом приезжие помещики. Если сказать правду, бывали нередко случаи, когда пан Туркевич вылетал оттуда с быстротой человека, которого подталкивают сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшиеся недостаточным уважением помещиков к остроумию, не оказывали влияния на общее настроение Туркевича; веселая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же как и постоянное опьянение.

Последнее обстоятельство составляло второй источник его благополучия,— ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромным количеством выпитой уже Туркевичем водки, которая превратила его кровь в какое-то водочное сусло; генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на известной степени концентрации, чтобы оно играло и бурлило в нем, окрашивая для него мир в радужные краски.

Зато, если, по какой-либо причине, дня три генералу не перепадало ни одной рюмки, он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию и малодушие; всем было известно, что в такие минуты грозный генерал становился беспомощнее ребенка, и многие спешили выместить на нем свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений; он только ревел во весь голос, и слезы градом катились у него из глаз по уныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желание тем обстоятельством, что ему все равно придется помереть «собачьей смертью под забором». Тогда все от него отступались. В таком градусе было что-то в голосе и в лице генерала, что заставляло самых смелых преследователей поскорее удалиться, чтобы не видеть этого лица, не слышать голоса человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения... С генералом опять происходила перемена; он становился ужасен, глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткие волосы подымались на голове дыбом. Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь и тор-